

**ВИКТОР
РОЗОВ**

**В МОСКОВСКОМ
ОПОЛЧЕНИИ**

**НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ**

На войне как на войне

Виктор Розов

В московском ополчении

«Алисторус»

2020

УДК 323(470+571)
ББК 66.4(2)

Розов В. С.

В московском ополчении / В. С. Розов — «Алисторус»,
2020 — (На войне как на войне)

ISBN 978-5-907255-92-0

Виктор Сергеевич Розов – известнейший советский писатель и драматург, автор более 20 пьес и киносценариев, в том числе сценария одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне – «Летят журавли». В июле 1941 года Виктор Розов добровольцем вступил в 8-ю дивизию народного ополчения Краснопресненского района г. Москвы. Эта дивизия сражалась с немцами на подступах к Москве, на знаменитом Бородинском поле. В своей книге В.С. Розов рассказывает об этих боях, также как о других событиях военного периода. Его мемуары – правдивый рассказ о добровольцах-ополченцах, наспех обученных и плохо вооруженных, попавших в невероятно тяжелые условия на фронте, – будто «нырнувших в ледяную купель», по словам Розова. Многие из них погибли, ценой своей жизни спасая Москву.

УДК 323(470+571)
ББК 66.4(2)

ISBN 978-5-907255-92-0

© Розов В. С., 2020
© Алисторус, 2020

Содержание

Часть 1. Прикосновение к войне	6
Вместо предисловия	6
Белоснежная фея	8
Госпиталь	12
В московском ополчении	16
Начало	16
Решение	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Виктор Розов

В московском ополчении

© Розов В.С., правообладатели, 2020

© ООО «Издательство Родина», 2020

Часть 1. Прикосновение к войне

Вместо предисловия

Я счастливый человек. Я родился в воскресенье, в престольный праздник города Ярославля – Толгин день. Толга – местечко на левом берегу Волги, выше Ярославля. Там был монастырь, он так и назывался – Толжский монастырь. Что означает слово «толга», не знаю. В этом монастыре когда то было свое чудо – явление иконы Божьей матери. Вот день явления Толжской Богоматери и был праздником, который назывался Толгин день. Ярославцы с утра уезжали в Толжский монастырь – молиться и на пикники. Мама в этот раз не могла поехать из за меня – я родился.

Мне повезло уже с самого начала – родиться в праздник.

В детстве лет до трех я все время умирал от разных болезней. Совсем умирал, каждый день. Однажды мама принесла меня к врачу, а он, увидев меня, сказал: «Зачем вы несли ко мне ребенка, идите домой, он у вас по дороге умрет». Но меня донесли до дома живым. И я продолжал умирать. Каждый день. К мысли, что я умру, так привыкли, что, кроме маминой сестры тети Лизы, никто и не верил в мое выздоровление. А я выжил. И, как отец Лоренцо в «Ромео и Джульетте», могу воскликнуть: «Опять удача!».

В 1918 году в Ярославле вспыхнул белогвардейский мятеж, организованный Савинковым.

Город горел сильно. Сгорел и наш дом, то есть дом, в котором мы жили, сгорел со всем скарбом. У мамы, папы, брата Бориса и меня осталось только то, в чем мы были, когда прятались в подвале от артиллерийского огня. (Если кто либо заинтересуется, почему отец не воевал, а был с нами в подвале, отвечу: он только что вернулся с войны, и одна рука у него была рассечена саблей.) Родителям вместе с нами удалось бежать из города, захваченного белыми, и мы стали беженцами.

Опять таки я остался жив! Опять удача!

Попали мы на житье в маленький городок Ветлугу. Деревянные домики, речка, дремучие леса, до железной дороги девяносто верст. Тротуаров нет. Голая, чистая земля, такая ласковая для детских босых ног. Природа... До десяти лет. А потом до девятнадцати – Кострома с ее Волгой, песчаным островом, лодкой, бреднем, лесами. Разве это не счастье – столько лет быть рядом с природой?! Нет, не рядом, а внутри ее. Разве это не везение?!

В Ветлуге нас застал знаменитый голод времен Гражданской войны. Люди ели картофельную шелуху, кору... Но мне опять повезло. Родители снимали квартиру в доме, хозяин которого имел колбасную мастерскую. Мы, мальчишки, впрягались в ворот, который раньше вращали лошади, и вертели его, прокручивая мясо. Это было увлекательно! А сверх того после работы каждый из нас получал кольцо горячей, багровой конской колбасы. Такой сочной, что, когда, бывало, ткнешь в это кольцо вилок, брызгал душистый соленый сок.

И я не умер в тот год.

Когда в Костроме я учился в восьмом или седьмом классе, отправлялся от кружка безбожников в деревню объяснять крестьянам, что Бога нет. Это было не нахальство с моей стороны, а детская вера в то, чему тебя учили в школе. Ходил под праздники верст за восемь-двенадцать в любую погоду по бездорожью.

Уже началась коллективизация. Я тогда ровно ничего не смыслил в этих делах. Прочту лекцию о Пасхе, а потом меня запирают до утра в амбаре на большой замок, чтоб не убили.

И не убили. И волки по дороге не съели. А я их видел. Страшно. Очень страшно. Могли съесть. Чего им стоит – мальчишку! Я сжимал в руке перочинный нож. А что им перочинный нож – у них зубы-то какие!..

Белоснежная фея

Да, я, пожалуй, должен прерваться и сказать, сколько мне лет сейчас, когда я пишу эту книгу.

По паспорту мне восемьдесят шесть лет, но ведь это неправда. Впрочем, астрономически так и будет – восемьдесят шесть. Но разве можно жизнь человека измерять какими-то абстрактными отрезками времени, как мануфактуру в магазине деревянным зализанным метром? Помоему, нельзя. Одно дело – столетний кавказец, дитя гор, неба, пастбищ, долин. Что он за эти сто астрономических лет видел, что пережил? Картина перед ним расстилалась довольно ровная. Другое дело, допустим, солдат, прошедший за четыре года Великой Отечественной войны путь от Москвы до Берлина. Солдату-то, может, к концу войны не двадцать пять лет будет, а сто двадцать пять. А тот кавказец по сумме впечатлений и потрясений недалеко ушел от шестнадцатилетнего возраста.

Да, да, жизнь должна измеряться не календарными листочками, а суммой впечатлений, полученных человеком от соприкосновения с внешней средой. Эту теорему, на мой взгляд, нетрудно доказать следующим образом.

Ну, во-первых, все, кто пережил минувшую войну, согласятся со мной, что четыре ее года и сейчас нам кажутся целым громадным периодом в нашей жизни, минимум десятилетием, а то и больше. Недаром о ней до сих пор много и говорят и пишут. Возьмите любые четыре нормальных мирных года – разве они соизмеримы с теми четырьмя? Или: кто бывал хотя бы в двухнедельных зарубежных поездках, чувствовал, как две недели тянутся долго-долго, куда более месяца или даже трех. Опять-таки – сумма впечатлений огромная. Организм живет по-иному. И глаза, и уши, и мозг – все работает с учетверенной нагрузкой.

Военным пребывание на фронте зачислялось в послужной список в двойном размере – два года за год. Но почему, друзья, только военным? А чем же хуже штатские? Разве они не перенесли на своих детских, отроческих или старческих плечах все тяготы военных лет? Перенесли. Дети особенно. И почему только военные годы? А другие из ряда вон выходящие события, когда весь организм работает сверх полной мощности, почему их – год за год? Каждый знает: есть такие мгновения – и всего-то минуты, секунды, а они старят человека. Волосы седеют, руки дрожать начинают, зрение гаснет.

Нет, ни метр, ни килограмм, ни кулон к измерению человеческой жизни не приложимы. Сколько же мне на самом деле лет? Сейчас прикину.

Родился я в 1913 году. А в 1914 году, как известно, началась Первая мировая война. Отца сразу же взяли на фронт, мама осталась с двумя малышами, пошла работать в шляпную мастерскую. Нужда, нужда... А ребенку нужны жиры, белки, витамины. Их не хватает, очень не хватает. Кладу два года за год: 1914-1918-й.

А с 1918 по 1922 год – Гражданская война с разрухой, холодом и голодом. Я уже писал, что кору ели. Колбаса-то не всегда. Правда, из какой-то фантастической муки пекли пирожки... с кишками. Да, да, мыли кишки, варили, рубили, делали начинку. Неплохо. А потом – знаменитый Ярославский мятеж. Видимо, потрясение от него вселило в меня детские страхи, фобии и сделало лунатиком. Об этом я при случае расскажу. Любопытно. Уже тогда я испытывал многое из того, о чем писал Кафка, а «Превращение» бывало и со мной, и именно в детстве, хорошо помню. За год – два года: справедливо.

1929–1935 годы – коллективизация. Даже хлеб не везде был. А я уже подросток и юноша. Мне много надо было хлеба, а где взять? Щи из воблы – не так уж калорийно. Чечевица без масла. А я в это время на фабрике в три смены, на текстильной, «Искра Октября». Мама выбивалась из сил: чем нас с Борькой накормить? А я уже видел страдания мамы, ее слезы, видел и переживал. Даже есть из-за этого хотелось меньше. Помню, мама вымаливала на базаре кар-

тошку, чтоб продали подешевле, жили-то бедно, а торговка издевалась, куражилась. Помню, как я закричал на маму, чтоб не унижалась, и два дня не ел вообще – в знак протеста. В такое время взрослеешь быстрее. Два года за год...

* * *

Потом Отечественная. И тут сверх нормы я сделаю себе персональную надбавку – тяжелое ранение и год госпиталя положу за четыре года. Стоит, товарищи, честное слово, стоит, не жадничайте, это справедливо.

Ну, представьте себе: меня, тяжело раненного, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь все текла и текла, и шесть суток я не спал, даже не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..

Госпиталь во Владимире помещался в старой церкви. Меня обмыли, положили на полу в подвале под сводами и накрыли простыней. Я, когда меня мыли, поразился, увидав себя без одежды. Самыми толстыми местами ног и рук были колени и локти, остальное – трубочки костей. Только разбитая нога вздувалась лилово-синей громадой от газовой гангрены, которая подползала уже к животу. Закрыли меня простыней с головой.

Помню, сестра с железным передним зубом осторожно приподняла с лица простыню, удивилась, что я жив, и как-то застыла с выражением страха, недоумения и сострадания на лице. Я шепнул: «Плохо мое дело, сестра?». Она жалко улыбнулась – тут-то я и увидел ее железный зуб – и от растерянности даже не солгала святой врачебной ложью, а кивнула головой и сказала: «Да».

На операционном столе я был в руках крепкой седеющей женщины с коротко стриженными волосами, в которые сзади был воткнут подковообразный простой гребень: тип женщины-партийки двадцатых годов. Она спросила моего согласия отсечь ногу выше колена. Я это согласие дал немедленно, не задумываясь. Никакого расчета у меня не было, никаких острых и сильных эмоций я не испытывал, – надо так надо, о чем и говорить! – как не почувствовал я боли во время ранения, а только удивился, что моя нога лежит как-то странно, отброшенная в сторону, голень – перпендикулярно к бедру, и пошевелить ею не в моей власти, сколько ни старайся.

Так и тут мне было не то что все равно, но был какой то ровный покой: ни страха смерти, ни мысли о том, как же я буду без ноги, ни расчета – ничего. Покой. После моего согласия на ампутацию я услышал резкое: «Маску!» – и мне на лицо сестра положила маску с эфиром и хлороформом.

«Считайте!» Я сделал усилие, прижал маску к лицу руками и быстро засчитал: «Раз, два, три...». На счете «шесть» все поплыло. Последнее, что я услышал, – тот же властный женский голос: «Скальпель!» – с ударением на звуке «ё». А затем наступило сладкое блаженство. Больше всего на свете мне хотелось спать, и я наконец-то уснул.

Проснулся я в палате коек на четырнадцать, покрытых новыми зелеными плюшевыми одеялами. Была глубокая ночь. Большинство раненых спали. Несколько человек покуривали самокрутки. А в углу на столике стоял патефон, и худенький паренек, попыхивая сигаркой, проигрывал пластинку. По палате тихо-тихо плыла мелодия на тему «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко».

Я успел все это разглядеть, прежде чем бросил любопытствующий взгляд на свои ноги. Может быть, потому, что боялся сразу бросить этот взгляд. Посмотрел и очень удивился. Под одеялом явственно проступали обе ноги – одна нормальная, а другая громадная. Это, как я понял позднее, от гипса, в который я был упакован до середины живота. Около меня сидела хорошенькая блондинка с милым, добрым лицом. Она, поймав мой взгляд на гипсовую ногу, пояснила:

- Решили подождать ампутировать, может быть, удастся спасти.
- Как вас зовут? – спросил я.
- Мария Ивановна.
- А фамилия?
- Козлова.

Какое дивное совпадение! Мария Ивановна – моя учительница в театральном училище, знаменитая блистательная актриса Мария Ивановна Бабанова, в которую я был влюблен и платонически, и эстетически, и еще черт знает как, впрочем, как все мальчишки нашего курса. А Козлова – ведь это фамилия Надюши, моей любимой девушки, моей безумно любимой, до сумасшествия. Да, да, Бабанова Бабановой, а Наденька – совсем другое, хотя и в одно и то же время.

Вот так, друзья, устроен человек. А я, ей-богу, по натуре совсем не донжуан, спросите кого угодно из моих знакомых, подтвердят.

– Что вы хотите? – спросила доктор с дважды родственным для меня именем, отчеством и фамилией.

– Пить.

Белоснежная фея обрадовалась, быстро налила мне из графина, который стоял у постели на тумбочке, воды, подала и сказала:

– Хороший признак. А есть хотите?

– Хочу.

Мария Ивановна чуть не засмеялась. Глаза ее зажглись, как будто там, внутри нее, кто-то чиркнул спичкой.

– Что бы вы хотели съесть?

Что может хотеть полумертвый солдат, давно вообще ничего не евший? Я полусерьезно сказал:

– Хочу пирожков с мясом... и компота.

Тогда это звучало примерно так, как если бы я вот сегодня, когда пишу эти строчки здесь, в Москве, а за окном двадцать шесть градусов мороза, попросил дать мне тарелку свежей лесной земляники.

Марию Ивановну порадовал мой пробудившийся аппетит, она его также назвала прекрасным признаком. Мы перекинулись с ней еще двумя-тремя короткими фразами, потом она молча посидела у моей койки и, видимо успокоенная, ушла. Я погрузился в долгий, глубокий сон.

Проснулся я, наверно, часов через четырнадцать в светлой, солнечной палате. У койки в белоснежном халате стояла та же Мария Ивановна, но сейчас у нее в руках была литровая банка с домашним компотом и тарелка с румяными продолговатыми пирожками... А?! Это она успела за пробежавшие ночь и утро сварить компот, и испечь пирожки. «Что он Гекубе, что она ему?» Что я – один из миллионов солдат – для измученного ночными дежурствами, потоком раненых, операциями палатного врача? Именно этот ее поступок, это ее необъяснимое внимание ко мне поразили меня чрезвычайно. Не пойму никогда, если буду искать логики.

* * *

А теперь маленькое лирико-мистическое отступление, относящееся к этому эпизоду.

В 1946 году, когда я жил в келье бывшего Зачатьевского монастыря (Москва, 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, корпус 7, квартира 13, комната 4), и война осталась уже позади, хотя было еще холодно и голодно, я сидел в своей десятиметровой келье вечером и при свете копилки что-то кропал. Вошел почтальон и вручил мне письмо. Я распечатал его. В письме

был другой конверт, адресованный моему отцу, который умер за два года до этого. Я вскрыл и стал читать.

Письмо оказалось от доктора Марии Ивановны Козловой. Она спрашивала отца обо мне, жив ли я, если жив, то здоров ли, что делаю. Оказывается, папа вел переписку с Марией Ивановной, когда я лежал в госпитале во Владимире, тайно узнавал все подробности моего лечения, и Мария Ивановна ему отвечала. И почему она вспомнила обо мне теперь и написала отцу, так и осталось для меня неизвестным. Я читал письмо и узнавал то, что было скрыто от меня ранее.

И вот здесь началась мистика. Когда я прочел письмо и задумался обо всем минувшем, за стеной в соседней комнате заиграл патефончик, и полилась мелодия «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Что это? Я вскочил, смешался. Сделалось не по себе. С какой то потрясающей ясностью всплыли зеленые плюшевые одеяла, глубокая ночь, покуривающий самокрутку раненый, милое лицо незнакомой женщины у койки...

Я быстро вышел в коридор, чтобы рассеять странное чувство. Я шагнул по нашему длинному монастырскому коридору, куда выходили двенадцать дверей из комнат-келий, дымил «Беломором» и старался успокоить свое волнение. А патефон за стеной продолжал петь: «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Напиши я подобным образом в пьесе, сказали бы: дешевый прием. А когда это написала сама жизнь – незабываемо! И придает смысл жизни...

Госпиталь

...Из вас не вылезали черви? Не глисты, а белые небольшие вертлявые черви? А у меня из-под гипса на живот густо полезли. Среди ночи. Это было уже в Казани, в госпитале, в бывшем клубе меховщиков на Тукаевской улице, куда меня перевезли из Владимира.

Как мне были омерзительны эти белые твари! Я почти кричал. Я думал, что начинаю заживо разлагаться, и это могильные черви. Пришел доктор и объяснил: бояться нечего, мухи снесли в рану яички, и вот теперь вывелись черви. Только мне и не хватало высиживать мух из их яичек! А ведь высидел, вернее – вылежал. Доктор сказал даже, что это полезные черви, они съедают гной. Но я просил поскорей избавить меня от этих полезных существ, и усталый доктор глубокой ночью возился надо мной, обирая с меня зародышей мушиного потомства. Потом эти червячки появились еще раз, но я уже их не боялся и обирал сам.

А когда у другого раненого они объявились, и парень стал благим матом кричать на всю палату, кричать и приговаривать: «Ой, как мне больно, ой, как больно!» – я рявкнул на него: «Не ври! Противно, но не больно. У меня два раза это было. Не больно, не ври». Что значит личный опыт, великое дело! И, представьте себе, паренек умолк. Устыдился. Он, видимо, понял, что ему не больно, а только страшно.

Госпиталь. Чего только я там не видел, чего только не испытал! Нет, не только мук и страхов. Сколько там было хорошего, радостного, необыкновенного! Даже в палате смертников, где я пролежал целый месяц.

Скверная палата, темная, тесная, сырая, да и окна выходили в кирпичную стену двора-колодца. Может быть, и верно решило начальство госпиталя: чего, мол, им, все равно временные клиенты, оставим лучшие комнаты для выздоравливающих.

Каждый день два-три покойника, но кровати не пустовали ни часу. Вынесут одного – волокут новых. Большинство без сознания, в бреду. Я не бредил, но и не спал, только два-три часа под пантопоном. Слушал чужой бред, чужое хрипение, зубовный скрежет. Один мальчик, совсем ребенок, лет двенадцати, от силы четырнадцати, все пел, день и ночь, двое или трое суток. Пел песни одну за другой. Нежно, бархатисто, чисто. Голосок прекрасный, и слух безукоризненный. Пел в бреду. Так и умер, не приходя в сознание. Песенка оборвалась, и что-то растаяло в воздухе. Я ждал, не возобновится ли пение, ждал час, два. Нет. Спросил сестру: что, мальчик умер? Она кивнула. Пел, как поют, наверно, ангелы в небесах. Да он уже и на земле был ангелом. Убежал в партизаны и был убит.

Но я же хотел написать о радостном. Впрочем, и этот мальчик – радость. Я слышал его святой голос.

В этой палате, в этом сером предсмертии, я просил книгу и, установив ее на грудь перед глазами, читал вслух «Пиковую даму», «Дубровского». И, представьте себе, те, кто был в сознании, слушали. Слушали внимательно, серьезно. Там, где есть хотя бы последнее дыхание жизни, она шевелится.

Потом меня перевели в палату выздоравливающих. Я не умер! Хотя, как я узнал позднее, по дежурству передавали: «Розов сегодня умрет, вы его перенесите туда». Туда!.. По палате ходили слухи, что «там» крысы отъедают носы и уши. Казалось, что уж тебе «там», не все ли равно, когда форма существования белка окончена и он подлежит распаду. Но почему-то было очень страшно знать, что «там» тебе могут отгрызть нос и уши.

А вот когда меня перевели в палату выздоравливающих – это была просторная комната на сорок коек и очень светлая, – в ней уже госпитальная жизнь была ключом. Вперемежку со стонами – хохот, оживленные разговоры, грешные взгляды на молоденьких сестер. Умирали и тут, но реже.

Я лежал на спине. Лежал долго, полгода. За моей головой под окном росло дерево – тополь, кажется. И я закатывал кверху глаза, стараясь по верхушкам увидеть и почувствовать время года, погоду. Когда няня входила в палату, и на ее лице горел румянец, я через этот румянец чувствовал мороз, видел снег. Морозный воздух прямо-таки вливался мне в ноздри.

Замечу здесь, пока не забыл, что, когда я примерно через год попал снова в Казань и вошел в эту палату, чтобы навестить знакомых, острый, густой запах гноя так шандарахнул мне в нос, что меня чуть не вырвало.

Выздоровливающий! Нет, не после гриппа или воспаления легких! И не выздоравливающий, а возвращающийся! Возвращающийся к жизни из небытия. Это буйный приток жизненных сил, когда тебе все время весело, когда в голове светлые мысли, когда ползающая по потолку муха приводит в изумление, когда весь мир со всеми его предметами, звуками, запахами воспринимаешь впервые. Очень трудно рассказать об этом ощущении первичного видения жизни. Наверно, так первородно видит ее ребенок, но память не сохраняет нам это первое детское впечатление от мира, оно за гранью. А тут совсем взрослый человек все видит, понимает, осознает.

Весной меня на носилках вынесли во двор и положили на траву. Я увидел целое небо, забор, цветы, дом, перспективу убегающих вдаль улиц. Если бы вы знали, как все это было прекрасно, гармонично, ярко, бесконечно разнообразно! Прямые линии, изогнутые, круг, угол. Особенно поразила меня красота дома. Куб, на нем коническая крыша, маленькая прямоугольная дымовая труба. Какая гармония! Какой порядок!..

* * *

В 1959 году я ехал по Волге на сверкающем «Илье Муромце». Моя жена Надя, сын Сережа, брат Александр с женой и я отдыхали – ехали рейсом Москва – Ростов-на-Дону и обратно. В Казани теплоход стоял долго, и я захотел побывать на Тукаевской улице в клубе меховщиков. Мы взяли такси и поехали. Нашли улицу и дом, где я провел почти год жизни. Пыльная улица, некрасивое здание клуба, дрянной дворик. Я ходил по знакомым местам и не видел их прежними глазами. Как же, после отличной московской квартиры, белоснежного «Ильи Муромца», комфортабельной каюты какая-то Тукаевская улица! И я был здоров. А может быть, именно тогда я был здоров, а сейчас, хотя и здоровый, но болен? Увы, чаще всего мы видим жизнь не с первородной ясностью, а затуманенным суетой и всякими соображениями взором, и не замечаем вечных, всегдашних и всеобщих гармонии и красоты мира. Нет, хорошо было тогда! Я писал стихи по два, три, по пять штук в день. Они не сохранились, но вот их обрывки, уцелевшие в памяти:

Я распят на больничной койке
По воле трех слепых старух.
А за окном на белой тройке
Летит зима, теряя пух.
А мне бы, встав теперь с постели,
Стряхнуть болезнь ко всем чертям,
Уйти туда, где стонут ели,
Где вьюга пляшет по полям.

Или:

И ты приходишь, вся из света,
Моей единственной во всем,

В том платье, помнишь, из вельвета
С коротким узким рукавом.

Или:

Именно в холодную погоду,
В плачущий, растаявший апрель
Гляну через льющуюся воду
В узкую таинственную щель.

А одно я запомнил надолго и, когда писал пьесу «В поисках радости», где главный персонаж пьесы Олег Савин пишет стихи, – выдал их за стихи Олега:

Сегодня за окном туман.
Открою двери и растаю.
Домов верблюжий караван
Куда-то в дымке уплывает.
Дороги шум и улиц там
Как будто тонут в хлопьях ваты.
И я плыву по облакам
И невесомый, и крылатый.

Жаль, что я растерял все листочки, любопытно было бы их перечесть. Не как стихи, а как свидетельства выздоровления.

* * *

31 декабря, за полчаса до Нового, 1942 года, когда я дремал и сладко перебирал в уме свои прежние новогодние встречи, в темную палату въехала каталка, на которой возят больных на операцию или на перевязку. Каталка на своих резиновых колесиках бесшумно подъехала ко мне, развернулась у койки, встала по правому ее борту, и голос старшей сестры сухо произнес: «Розов, на перевязку».

Почему ночью? Что случилось? Зачем? Я знал, что каждый день мне могли отсечь ногу выше колена, но почему сейчас?

Четыре руки подсунулись под меня, подняли на воздух, переложили на каталку, и я поплыл через палату, вестибюль, коридоры и въехал в операционную. На операционном столе стояли стаканы, закуска, графин с разведенным спиртом. Дверь захлопнулась, и раздался дружный девичий хохот. Я пожаловал на встречу Нового года.

Везет мне! Тысячу раз везет! Такого веселого, озорного, фантастического Нового года я никогда не встречал.

Маленькая, совсем юная татарочка Зоя с персиковым личиком и черносливовыми глазами, пожилая, добрейшая до последней морщинки на лице Екатерина Ивановна, рослая круглолицая Соня и доктор Фаина Моисеевна. Кстати, Зоя однажды чуть не утомила меня. Когда меня в третий или четвертый раз оперировали, Зое впервые поручили дать маску. От волнения она так расхлобыстнула кран, что эфир с хлороформом хлынул потоком, и меня несколько дней вновь вытаскивали к бытию на этой планете. Что делать! На ком-то надо было тренироваться.

Я читал девушкам стихи, острил, старался быть достойным кавалером этого вечера. Бедные девушки! Видимо, загипсованный, дохленький, я заменял им их кавалеров, унесенных

войной в разные стороны. Впрочем, они просто были веселы, и, в конце концов, раз им на долю выпало дежурство в эту новогоднюю ночь, не губить же ее окончательно!

Эти девушки сейчас пожилые дамы, но, я думаю, они тоже помнят лукуллов пир в ночь под сорок второй. А Екатерина Ивановна, старшая сестра, умерла, я знаю. Золотой была человек! И откуда такая доброта и приветливость к людям! Нет, ни ум, ни знания, ни чины, ни даже талант никогда не заменят на земле этого поразительного, исцеляющего душу и тело тепла человеческой доброты.

* * *

Много было в госпитале странного на взгляд жителя мирных лет.

Привезли новенького, положили напротив меня. Фамилия – Соловей. Ленинградец. У него оторваны обе руки и обе ноги. Парень без передышки кричал благим матом, срывал зубами бинты с култышек рук, требовал, чтобы его отравили. Фамилия-то какая – Соловей! Вот тебе и соловей!

Орал и бесновался долго. И в палате начался ропот:

– Заткнись!

– На кой черт нам его подсунули!

– Несите его отсюда!

– В коридор выставьте, уберите к лешему!

Просто лежачий бунт.

И выставили в холодный коридор. Вечером внесли обратно. Тихого, вялого. Он еще два дня негромко упрасивал прикончить его, но потом перестал, смирился.

Может быть, скажете – жестоко гнать из палаты такого, бессердечно? Нет, не то, совсем не то. Это не жестокость, это война. Это люди с особым состоянием души.

Я мог неторопливо и с аппетитом есть манную кашу, а рядом на койке закрывали простыней умершего соседа. Под простыней обрисовывались его нос, живот, кончики ног. А я ел вкусную сладкую манную кашу. С аппетитом.

Опять скажете: черствость, эгоизм, одеревенение естественных чувств? Нет, не эгоизм, не черствость, не одеревенение. Это сила жизни. Та сила, которая позволяет нежной травке – муравке взламывать асфальт, вылезая на свет Божий. Слава ей, этой силе, слава! Помните, у Толстого: «Как ни старались люди...». Как ни старалась война убить все живое, жизнь лезла во все щели, везде.

Я изучал в госпитале немецкий язык и вел обширную переписку с друзьями. Нет, этот год жизни не был потерянным годом. Никогда, ни одной секунды не надо терять, ожидая завтра. Надо жить сегодня, сию минуту, секунду, мгновение. В этом преодоление страдания и радость бытия. Сей миг!..

В московском ополчении

А теперь – о войне. Я пишу не о событиях, не о явлениях природы и общества, не о предметах и даже не о людях, а только о своем чувствовании мира, о жизни человеческого духа. Моего духа. Я хочу вспомнить, что я чувствовал в такое-то время, в таком-то случае, при виде этого, при встрече с тем.

Во время войны я получил много новых, удивительно сильных и совершенно неожиданных впечатлений. О них-то и расскажу.

Начало

Мы, актеры московского театра имени Революции, были на гастролях в Кисловодске... При встрече с Кавказом я тоже испытал сильнейшее и даже необыкновенное чувство и не могу о нем не рассказать.

Театр поехал сначала в Сочи. Было это в конце апреля 1941 года. Душа моя в тот год была истерзана битвой за жизнь. Полуголодное существование (врач в справке так и писал: «Розов В. С. страдает тяжелой формой нервного истощения на почве голодания»), плохое положение в театре – я никак не мог продвинуться дальше актера вспомогательного состава, а главное, отчаянные неладья в любви.

Все было не только серо, тускло, но и беспросветно. У меня над кроватью висел лист бумаги, расчерченный на триста шестьдесят пять квадратиков, и я вечером перед сном раскрашивал каждый квадратик – прожитый день – в свой цвет. Их было три: красный, серый и черный. Иногда они чередовались, иногда шли полосами – один цвет подряд. Сейчас образовался такой беспросветно черный ряд, какого не бывало никогда. Измученный бессонными ночами, загнанный, истерзанный, злой, погруженный в глубокую безнадежность, под холодным мерзким дождем, который в Москве прыскал уже несколько суток без передышки, с драным чемоданом, я пересек площадь у Курского вокзала, спустился в тоннель, затем вылез на платформу (о, этот глупый и тоже мерзкий Курский вокзал с лазаньем вверх-вниз, как будто сделанный нарочно для мучения людей!), втащился в вагон и, ни с кем не разговаривая, ни на кого не глядя, забрался на верхнюю полку и уснул на голой доске. Мне хотелось провалиться в сон. И я провалился. Долго ли, коротко ли я спал, не знаю, не чувствовал. Спал беспробудно, без снов. Когда проснулся, не хотел открыть глаза, боялся их открыть. Во сне было хорошо, во сне ничего не было, а сейчас – открою, и снова начнется ад. Медленно и лениво открываю.

Поезд стоит на полустанке. И первое, что я увидел за окном, – ветку цветущего миндаля. А потом – яркую зелень деревьев, голубое небо и беспредельную синеву моря. Это было так сверкающе прекрасно, что мне показалось – я проснулся в другом мире. В мгновение ока – нет, я даже не успел сделать этого мгновения оком – какая-то высочайшая волна радости окатила меня с головы до ног и подняла ввысь. Я услышал голоса своих товарищей, смех. Мне сделалось милым все – и вагон, и друзья, и их смех, и это счастье за окном: цветы, небо, море. Вся моя черная хандра, вся тяжесть невзгод – все исчезло, как по взмаху волшебной палочки. Я снова сделался счастливым. Меня просто распирало счастье! И я чувствовал – это не на минуту, не на день, это уже навсегда.

Такое полное и глубокое постижение жизни, ощущение, что ты сам и есть вся жизнь, часть всего мира – и часть, и целое, – бывало со мной редко, но пронизывало всего насквозь и надолго. Первый раз это случилось, когда я однажды днем шел по Гоголевскому бульвару, и в меня, как в мальчика Кая из сказки Андерсена «Снежная королева», вдруг влетел осколок волшебного зеркала – только доброго волшебного зеркала. Я даже остановился, опешил. В одно мгновение я испытал невыразимое счастье всей жизни.

Именно это повторилось при встрече с Кавказом. Таким образом, предвоенные дни сделались днями радости. Красота Кавказа, да еще цветущего, майского, сама по себе, без всяких причин и поводов, – радость. В голове беспрерывно вертелись строки то из одного, то из другого стихотворения: «Кавказ подо мною. Один в вышине...», «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал...», «Вокруг меня цвел Божий сад, растений радужных наряд...», «Налево магнолия, направо глициния...». Это уже, кажется, о Крыме, но не все ли равно, так подходит! И даже в приступе радости сам сочинял:

Я сегодня чище чайки, серебристей, чем полтинник.
От ботинок и до майки бел, как будто именинник...

Из Сочи театр переехал в Кисловодск. Моря нет, все не так пышно, но тоже поглотило целиком своей мягкостью и величием. А тут еще рядом Пятигорск, овеванный Лермонтовым. И сверх того: незадолго до 22 июня на труппе прочли веселую, даже блестящую комедию в стихах – «Давным-давно» Александра Гладкова. Тоже приятно. Бабанова будет играть Шурочку Азарову, Лукьянов – Ржевского. Мы, молодежь, всегда взволнованно переживали выпуск спектакля – от читки пьесы до премьеры. Событие! Все отлично!

* * *

Тут бы написать: и вдруг все переменялось, началась война.

«Так, да не так», – как любит говорить моя двоюродная сестра Татьяна. Пожалуй, первое чувство, которое я испытал, когда услышал о начале войны, – острое любопытство, как перед ожиданием какого-то грандиозного представления: что-то теперь будет, ай как интересно! Глаза мои раскрылись шире в ожидании. Я увидел, как в первые же часы люди стали быстрее ходить по улицам, почти бегать. Возникло всеобщее возбуждение.

Мы, молодежь театра, тоже были взвинчены, возбуждены. Огромной шумной и веселой компанией мы ринулись в кафе-мороженое отмечать это совершившееся, но невидимое всем нам событие. Мы хохотали, острили, дурачились и закончили «торжество» тем, что разлили в высокие металлические вазочки из-под мороженого шампанское и с криками «Ура!» выпили. Назовите это мальчишеством, глупостью, идиотизмом, как хотите, но это было так. Именно это теперь меня и поражает, потому что сейчас, когда мне много лет, когда у меня семья, когда я знаю, заряд какой разрушительной силы кроется в слове «война», я бы не побежал в кафе, я бы не дурачился, не смеялся, а, обхватив голову руками, мучительно думал: как спасти детей? Но тогда эта-то необычайность – началась война! – и сделала жизнь еще более интересной и любопытной: я узнаю, что такое война. Вроде повезло.

Вечером 22 июня мы играли спектакль в Пятигорске. Казалось, все на своем месте. Актеры надевают нарядные испанские костюмы (шла «Собака на сене» Лопе де Вега), гримируются, бутафоры раскладывают по местам необходимые вещи, стучат молотками рабочие сцены, в зрительном зале сверкают зажженные люстры... Но мы полны любопытства: придет зритель в театр или не придет в этот странный и непонятный день? Всегда было набито битком.

Третий звонок, постепенно гаснет свет в зале. Смотрю в щелку. Пустых мест около половины. И эти пустые стулья почему-то вселяют в душу тревогу. Первая тревога.

Спектакль идет как-то необычно. Те же слова, те же мизансцены. Но все вдруг обретает какую-то бессмысленность. Началась война, а тут какая-то графиня де Бельфлор занимается глупостями: можно ей любить своего секретаря Теодоро или не можно, уронит это ее графскую честь или не уронит. Ну, кому до этого дело? Началась война! Играем – и какое-то чувство стыда.

После окончания спектакля, разгримировавшись, выходим из театра и... попадаем в крошечную тьму. Что такое? Почему не горят веселые вечерние огни Пятигорска? Приказ: свет в городах не включать – вражеские летчики ничего не должны видеть, если окажутся над городом. Война идет где-то там, за тридевять земель, за тысячи километров от нас, но дыхание ее сразу же дошло сюда, до тихих, божественных Минеральных Вод. Тревога номер два. Шаримся в темноте, держась за руки и окликая друг друга. Южные ночи черны.

А на следующий день под звуки оркестра идут новобранцы. Мы выскакиваем из театра и видим эту картину. Оркестр гремит звонко, трубы поют в ясном солнечном воздухе. Но почему в привычном ухе марше слышится какая-то чеканная сухость и тревога? Так, да не так. А еще рядом быстро идут, почти бегут матери и отцы марширующих к вокзалу новобранцев. Тревога! Тревога номер три...

* * *

Много времени спустя, в 1942 году, после лечения в госпитале ехал я, добираясь до дома, по Волге. Ночи были тоже черные, хотя не такие беспросветные, как на юге.

Пароход причалил к Чебоксарам. Пристань была забита людьми, а сверх того толпа стояла на берегу. Это тоже провожали новобранцев. Пареньки моложе тех, что маршировали в Кисловодске. Стали грузиться на пароход. Раздались прощальные слова, выкрики, всхлипы. Черная масса плотно скученных людей зашевелилась, закачалась как одно большое непонятное существо.

Когда отдали трап, еще соединявший последней связью людей на пароходе и на берегу, люди на пристани – отцы, матери, братья, сестры, невесты, друзья – вцепились руками в борта парохода, стараясь удержать его. Пространство между пароходом и пристанью становилось все шире. Тела стали вытягиваться над водой, но пальцы не разжимались.

Матросы бегали вдоль палубы и отрывали эти руки от бортов. Через мгновение я услышал плеск падающих в воду тел, и река огласилась воплями. Пароход шел, а вслед ему неся этот единый многоголосый вой. Он тянулся за нами долго, как туман, как дым, как эхо.

Когда я писал в сценарии «Летят журавли» сцену проводов Бориса, я помнил и звуки оркестра в Кисловодске, и вой над Волгой, и как провожали меня со 2-й Звенигородской улицы в Москве 10 июля 1941 года.

Краснопресненская дивизия народного ополчения лавой плыла по ночным темным московским улицам. По краям тротуаров стояли люди, и я услышал женский голос, благословлявший нас в путь: «Возвращайтесь живыми!».

Эту реплику я в неприкосновенности отдал бабушке в пьесе «Вечно живые». Она заканчивает первый акт драмы.

Решение

До этого выхода из Москвы с первого дня войны возник и лично мой нравственный вопрос: где должен быть в это время я?

Собственно, вопрос этот не мучил меня долго, он возник и немедленно был решен: я должен идти на фронт. Это не было желанием блистательно проявить себя на военном поприще. Мне просто было бы стыдно оставаться в тылу в то время, когда мои сверстники были уже там. Я повиновался чувству внутреннего долга, обязанности быть там, где всего труднее (подобная фраза есть в пьесе «Вечно живые», ее произносит уходящий на фронт Борис).

Я не знаю, как воспринял мое решение отец. Никогда до самой своей смерти он не обронил об этом ни одного слова. Да он бы и не мог сказать «нет», хотя сам прошел через все 1914–1918 годы с боями, ранением и пленом. Этому ему не разрешил бы его отцовский долг. Но он

и не сказал бы «да» как знак одобрения. Отец был очень суров, и сентиментальность была ему решительно чужда. Да и слова одобрения в подобных ситуациях произносятся только со сцены или на собраниях чужими людьми. «Слова солгут, молчанье скажет все» (Шекспир).

Моя любимая девушка поправляла волосы перед зеркалом, когда я вошел и объявил, что уйду в армию. Не отрывая глаз от своего хорошенького личика, не поворачивая головы в мою сторону, она беспечно произнесла: «Да? Какого числа?».

Я назвал дату, и мы перешли к разговорам на другие темы.

Мне могут сказать: а что, собственно, особенного, товарищ Розов, в вашем поступке? Десятки тысяч других юношей и девушек распорядились в эти дни и годы своей судьбой точно так же. Да, это так. И из Театра Революции мы ушли на фронт довольно большой группой. А когда нас, ополченцев Красной Пресни, выстроили во дворе школы на 2-й Звенигородской улице и командир отчеканил: «Кто имеет освобождение от воинской повинности или болен, шаг вперед!» – ни один человек не сделал этого шага. Напротив, стоявший рядом со мной студент МГУ быстро снял свои сильные очки и спрятал их в карман.

Я пишу об этом своем решении потому, что находились люди, которые спрашивали меня: «Зачем ты сделал эту глупость?». На подобные вопросы я пожимал плечами и отшучивался. Иногда бывали и более резкие суждения: «Понимаем, ты пошел добровольцем с товарищами, чтобы тебя не забрали и не бросили в общий котел черт знает куда. В ополчении все-таки легче». На это я отвечал, что меня куда бы не забрали, так как у меня был белый билет.

* * *

Дополнение. Когда я писал эту главку, один очень славный и мыслящий молодой человек в разговоре о прошлом, который у нас шел, вдруг спросил:

– Виктор Сергеевич, а почему вы пошли добровольцем?

Я чуть не подпрыгнул на скамейке (дело было за городом, на даче). Ах, как кстати мне этот вопрос! Сейчас я проверю, достаточно ли ясно написал о своем решении. И пересказал молодому человеку все, что вы сейчас прочли. К моему огорчению, я понял: написал неполно, неубедительно. Потому что молодой человек спросил меня:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.